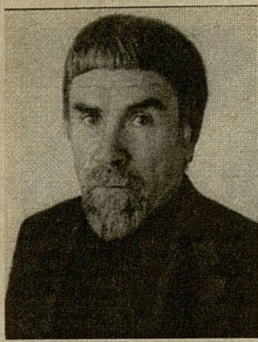


Валентин
КУРБАТОВ

ЭЙ, НА ПЕТРОГРАДСКОЙ!

(Из пожелтевших тетрадей)

Высокий рангоут предназначен для сильных ветров, а рангоут моего мозга уходит под облака, что несется в вышине, изорванные ветром.

Г. Мелвилл. «Моби Дик»

Он позвонил ночью. Это с ним бывало, когда время останавливалось. А для человека, который месяцами не выходит из дому (ноги плохие), да еще выпивает, время останавливается часто. Особенно зимой, когда рано темнеет и день тянется под мертвенное однообразие искусственного света. Язык не очень слушался его, но я понял, что не от выпитого, а от того, невыносимого, невыносимого для него, что он выговаривал: «Слушай, матроз, мне кажется, я сдох. Нигде никто ни звука. Был ли писатель Конечский? А ты не написал про меня ничего умного и пропустил случай въехать на мне в бессмертие. Смотри, матроз, пароход уйдет!»

Он тяжело посмеивался и по обыкновению «травил», но тоска и отчаяние были нешуточны. Он действительно терял курс и не знал, за что ухватиться. Его «муза» жила с ним только когда он ходил в море и любила в нем моряка. На суше, на старом диване Петроградской стороны он был ей не нужен — морские «музы» легкомысленны и ветрены. Он еще пытался заманить ее, раскидывая на полудневники и радиogramмы своего последнего похода десятилетней давности, но она уже не верила этим пасьянсам — старый капитан сходил с «моста» и уже не вытирал «платком, словно в насмешку украшенным флагами всех наций мира», пыль со старых лодий, и карта мировых океанов над диваном глядела скорее укором, чем искушением.

Там, на полу, лежали и мои радиogramмы («Вставлю в книжку, матроз, прославись»). Мы тогда, перед тем последним его походом, с год как познакомились в Ниде, и, подружившись, я часто швартовался у него на Петроградской, если судьба заносила в Ленинград. Чаще, признаюсь, она заносила именно и единственно к нему — так еще кипел в нем дух и так было хорошо подкрепляться этой молодой силой и игрой, которая так всегда выделяет «мариманов» из расчетливой среды берегового народа. Поход, как всегда, был для него праздником. В сухой аскетике радиogramм это виднее всего: «Проходим Диксон чистой воде. Жму лапу...», «Застрыля Тикси. Затем длительная работа Колыме. Обнимаю...», «Занесло Чукотку. Штормит впереди. Опять Колыме. Буду дома начале октября, вероятно, через Астафьева. Соскучился...»

У Астафьева мы увиделись тогда в Овсянке посередине «сухого закона» — это после похода-то и воздержания. Это отдельный рассказ для мужественных людей — тут потребна кисть эпическая. Авось Виктор Петрович как-нибудь вспомнит. Потом уж встречи пошли пунктиром, как всегда они идут у стареющих людей, разведенных бытом и отвратительным временем, пошлость которого перевешивает смысл. А тут после звонка я заглянул в 84-й год, в холодные ветреные дни Ниды, и ахнул. Я и забыл, как мы много «трепались» тогда и как охотно я забрасывал свою скучную работу, чтобы слушать и слушать. И, Господи, какие там были чудеса! Как все летело и сколько было сил! Дни были ненастные, а я был и рад, что мы связаны невольным соседством. Теперь мне трудно выбрать из тех дней лучшее, и я выбираю только то, где порезче выразилось время или характер самого Конечского. Ну, и заранее прошу прощения у тех добрых людей, которые мелькают в его рассказах, — народ все известный и тем уж обреченный публичному существованию — о чем и говорить при встречах, как не об этом «общенародном достоянии».

И не торопитесь списывать себя на берег, Виктор Петрович, — все это Вам еще предстоит написать самому, чтобы проучить мою самонадеянную память.

(Вместо дневниковых дат решил выставить сюжетам названия — так часто он торопил их завершение прямо внутри беседы, — моряк-то может быть в отпуске, а прозаик — нет).

«ПРИВЕТ С БАЛТИКИ!»

— Я видел Сталина вот как вас 2 мая 1952 года. Наш морской батальон тогда лучше всех прошел на параде. Мы ведь были ребята отборные. Из нас готовили гвардию подводников и выбрали из мозгов все, что для гвардии не годилось. Мы вступили в партию строем — два шага вперед! Сразу после объявления, что училище становится подводным, а мы — гвардией.

Перед парадом мы неделю репетировали на городском аэродроме у Химок, куда сажались самолеты в войну. Репетицию принимал Буденный. Кто-то из наших (все-таки 24 человека в шеренге — удержи тут равнение, да еще с винтажом, и штюком!) споткнулся на брусчатке, строй сбился, задние ткнули пе-

редних штыками, пошла куча-мала. Буденный завернул в микрофон такое материальное «чудище обло», какого я уж с той поры и не слышал: «Параду стоят! Моряки на исходную! Адмиралам (а у нас их было четыре, уже с брюшком) пузо не распускать и пальши не между ног держать. Пошел! И ноги не слышу. Подковать их, так и растак!»

И так почти целую неделю по 16 часов — вперед до бляхи, назад до отказа! Зато прошли как литые. Даже когда над колонной на бреющем в головном бомбардировщике пролетел Яков Сталин и за ним остальное звено — тут ведь оркестра не слышно. Подкова звук неслась — по шесть штук нам засадили на каждый ботинок. Потом, за Василием Блаженным, мы их сквирунули штыками, выложили из них якорь и надписи «Привет с Балтики!».

Вот тут-то по традиции лучший батальон и пригласили в Георгиевский зал. Бачок жратвы на шестерых и бутылка сухого вина. И когда мы перед едой каменели «смирно», он и прошел рядом, жутко рябой и низенький, с опущенным фужером в руке. Скажи он тогда броситься со сто восьмого этажа — не думая бы махнул. Во какие мы были ребята! А потом я уже видел его не на, а в мавзолее. И тут уже все было по-другому. Я тогда еще смешливый был, и мне почему-то очень смешно показалось, как они лежат там рядышком по сторонам от прохода. Все руки себе искусал, пока шли, а только за дверь, скорей выхватил папиросу и спички и, прикурив, сунул, как всегда делал, спичку в коробок, но от торопливости не в ту сторону, коробок вспыхнул и я тут же — по воздуху? под землей? — оказался в подвале ГУМа. Умели ребята работать. Насилу отвертелся...

ПРО КИНО

— Вы «Тридцать три» видели? Мы тогда пришли на студию: я, Вася Аксенов, Юра Казаков, Валка Ершов и Гия Даниеля. «Давайте, — говорим, — договор на пятерых. Что, итальянцы могут сценарии ротами писать, а у нас кишка тонка?» Ну, видят такой парад звезд — подписали. Мы рванули в Одессу и утопили аванс в водке. Первым бежал Вася, вторым подхватил свой рюкзак и удочки Юра Казаков. А перед нами замаячила необходимость отдавать аванс. Ну уж кхм! Мы завязали намертво и месяц писали. Катались со смеху, заводили друг друга. Я теперь знаю, что комедии вообще надо писать не меньше чем вдвоем. Гия тогда выписал из Кремля настоящий эскорт с «Чайками» и мотоциклами, чтобы хватить в Верхние Ямки через кур и кальсоны, мотающиеся над дорогой. И у нас был замечательный эпизод, когда Травкина от лица человечества провожают главы государств: Никита наш, Эйзенхауэр, де-голлевский нос... Камера ухнула с Травкиным вверх, и оттуда сверху они, такой дачной кучкой, махали руками и фуражками. Все в орденках, как новогодние елки. Было очень смешно. Выкинули, дураки...

А с «Полосатым рейсом»... Никита заманил эфиопского Хайле-Селассие, как революционного короля, в гости. Ну и зная, чем тешат социалистических королей, повел его в цирк на Цветном. А король рубил в тиграх и, когда увидел, как Маргарита Назарова работает со смешанной группой (обычно на арене только «девочки» или только «мальчики»), ахнул и отвалил челюсть. Никита смекнул, что у нас, значит, есть товар, который мы пока не сунули в нос гниющему Западу, и срочно объявил о необходимости снять о русских тиграх «хороший фильм». По всем студиям шарахнули конкурс. Титулованные комедийные идиоты понесли свое барахло. А передо мной в очередной раз маячила необходимость отдавать аванс за какую-то мать, которая у меня не шла. Я пришел на ватных ногах «сдаваться», но директору было не до меня. Он устал от комедийных идиотов и готов был говорить о несчастных тиграх с уборщицей. А тут подвернулся я, и он пожаловался мне. Я же вспомнил, как мы однажды везли двух медведей, и они у нас слиняли из клетки, и их пришлось загонять кислотными огнетушителями, действие которых прекращается за две минуты. И я тут же предложил директору тигров на пароходе. Тот готов был ухватиться за соломинку — аванс был прощен, и я вошел в новый сюжет.

«Полосатый рейс» я уже делал один. Смешной был эпизод с Леоновым в ванне. «Мысля, — говорим, — Женя, и давай. Мы тут стекло поставим от Пурша и спокойно снимем». Он — в ванну, поет. Мы — дресси-

ровщика под ванну для страховки, а Пурша вперед без всякого стекла. «Женя, — говорим, — тебя там не видать, протри глаза». А он там разнежился — тепло — моется, поет. Ну тут зенки-то продрали, а Пурш воду лапой трогает. Женя пулей как дунет, забыв, что голый, и мы его тут сразу с первого дубля — самый народно-любимый кадр и сняли. Эх, он и поматерился...

Посмотрел я тут у Гии «Слезы каплют...» Гия-то Гия, но уж себя не перепрыгнешь. Без характера никакого кино нет. Пусть уж писатель пишет сценарии, а режиссер снимает. Иначе вот такое культурное... и выйдет: черные лошади на пепельных фонах, «безумие» города и «пастораль» деревни — одни общие места. Сразу видно, что Володина он прогнал, а тот как раз счет. «Фабричную девчонку» он как писал? Пошел на «Красный треу-

гольник», там десять тысяч девчонок, снесенных послевоенной жизнью в Ленинград. Придет в общежитие: «Машка где?» «Какая?» (А он уж разведает, кто есть кто в комнатах) — «Иванова». — «Так нет ее. Она нынче во вторую смену». — «Вот беда, а я как раз из деревни к ней, двоюродный брат. Можно я пока тут перекантуюсь? Где ее койка-то? Пospлю часок — устал, пока добирался...»

И на бок! А девки в комнате чешут языками — что он им, этот «двоюродный брат»? Этого придумать нельзя. Он ловил четко. И интонацию держал — будь здоров!

О ДЕТСТВЕ

— В апреле 42-го мы прорвались через Ладогу. Мать везла нас в Ташкент. Голодных нас накормили жирной гречкой, хотя не надо было быть врачом, чтобы понять, что это смерть. Мы подышали от поноса, когда уже нечем было ходить. Мать не ела неделю, но болезнь не проходила. Мы ждали, что она помрет со дня на день. Поседела, волосы сваялись — волосы умирают первыми. Но она была фантастично верующий человек и не могла умереть, не выходя нас перед Богом. Может, только тем и держалась.

А за Уралом к нам в вагон попали крепкие здоровые ребята — лейтенанты, ехавшие учиться в этот же Ташкент. Представляете — 42-й, на фронте не вздохнуть, положение на пределе, а они в тыл едут — учиться. Нет, наш рябой — крепкий был парень, и нервы у него тогда были уже будь здоров, чтобы с фронта отзывать таких крепчайших и учить командовать, тогда как что лучше пули учит солдата? Но вот понимал, что воевать придется не одной кровью. И ребята только очухавшиеся: позади — лучше не вспоминать, впереди Ташкент — город хлебный, бабы, учеба, сами молодые... Из них перла жизнь, и они не могли, чтобы рядом кто-то помирал: «Ну-ка, мать, давай, не хрен тут, разевай рот!» И они приподняли ей седую голову и влили полстакана спирту. Мать отключилась. Мы с братом кинулись на защиту. Я и сейчас помню эти крепкие торсы. Лиц не помню, а вот торсы — да. Наверно, потому, что глаза были на уровне их груди, а вверх ведь почти и не смотрел — гордый уже был, а приходилось всю дорогу на станциях канючить: «Дяденька, мамка помирает. Дяденька, мамка помирает». Хотел корку выклянчить или купить — по 400 рублей мать нам зашила — и сразу деньги таяли, чтобы не просить, но меня шугали с этими шившими, никому не нужными деньгами. И никакого Станиславского не надо было, чтобы точно сказать в одном случае «Ради Христа!», а в другом «Товарищ командир!». Ох, ученые мы стали ребята за дорогу. Мать пошла на поправку...

НА «МОСТУ»

(«На мостике» — это для нашего брата. От него ни разу не слышал, все — «на мосту»).

— Лучшая литература — документ. Вот поглядите мои показания Мурманскому пароходству. Это лучше моей прозы. Читатель будет глядеть на эти градусы, часы, румбы, скуку цифр и команд и ждать, что щас что-то случится. И случилось...

И дырочка-то была всего в палец, но судно уже не ходок и за грузом уже надо смотреть вдвое. И неизвестно, кто виноват, на чьей вахте случилось. Главное, уже тяжелые льды прошли, вышли на чистую воду, поздравил друг друга, и я пошел спать. И тут второй помощник докладывает, что во втором отсеке вода. На Колыму пришли — осадка на юрму 40 сантиметров ниже бара, «рейки», как там говорят. Надо перегружать картошку. Мой первый вызывает команду на палубу и говорит красивую речь: приказывать я вам не могу, только просить, но надо перекачать шестьсот ящиков картошки из кормы в нос. Правда, если просьба не поможет, я так прикажу, что вы у меня эту картошку... (тут он спохватывается, взглядывает на меня, улыбаюсь). Он идет переодеваться в подарок датских рыбаков — роскошный комбинезон, чтобы встать к ящикам первым. И пошел, и пошел! Полет, а не работа! А капитан-то уж моих лет, при таких нагрузках можно и концы отдать. Я зову его, привираю, что появился крен на градус, чтобы он выпрямился и отдохнул. Он понимает, посмеивается: брось, Викторыч, все нормально.

Я предлагаю ему позвать женщин, чтобы собрали рассыпавшуюся по палубе картошку — самим на полрейса хватит, но капитан и

тут посмеивается: брось, Викторыч, потом-ну столкнем за борт и весь хрен до копейки, у нас же ее не весом, а числом ящиков будут принимать.

Нет, тут только как Петр — на реях вешать, иначе порядка не дождешься! У Новой Земли с «Брежневой» запрашивают: кто скатал нефть за борт? Льды пошли черные. Суда молчат — нашли дураков! Наш капитан бьет себя кулаком в лоб: «Дурак, как же я забыл сказать «деду», чтобы он вчера в тумане наше... за борт откатал...»

А вы говорите — экология... Только на реи!

Смотрит альбом Врубеля.

— Я встретил Михаила Александровича в Карском море — шел целый караван. Лед тяжелый, туман. Врубили все прожектора, чтобы хоть немного разогнать эту тоску и мглу.

По свидетельству
сотрудников
Чукотской
окружной
библиотеки имени
В.Г. Тана-Богораза,
у северян до сих
пор одним из
самых любимых
писателей
остается Виктор
Конечский.
В том числе
и потому, что он
много лет плавал
вдоль побережья
Чукотки и написал
о своих
странствиях очень
честные книги,
такие, как
«Вчерашние
заботы» и
«За доброй
надеждой».



В бухте

А когда малость развиднелось — смотрим: прет мимо нас по чистой воде рыббазз, такой чемадон в четыре дизеля — «Художник Врубель». Все у нас высypали на палубу: во дает! И что это у нас, своих художников нет — иностранных называть? Не еврей ведь, неверно, евреем бы не назвали — француз какой-нибудь. А вот «Шискина», поди, нет. И... эх, пошел... Ну-ну... И смотрим, действительно, залез левой скулой на лед и встал. Крен — градусов 25. Наутро все стоит. Я вызываю: «Эй, «Врубель», капитан на мосту?» «А где же ему быть?» «Ты, — говорю, — с чего такой храбрый?» А он говорит, что первый раз в Арктике, понадеялся на четыре машины, четыре-то дизеля — прогрус. «Ладно, — говорю, — стой так, попробуем обколоть».

— Про Врубеля-то, думаешь, шутили? Идем мимо мыса Челюскин, спрашиваю полита: «В честь кого назвали, знаете?» «Ну, уж вы, Виктор Викторович, совсем из нас дураков делаете». — «Ну а все-таки, без обид?» — «В честь этого, смешно даже, ну, корабля, который тут зимовал». — «М-да...» Рассказываю ему о Семене Ивановиче Челюскине. Удивляется. Проходим проливом Вилькицкого, рассказываю этим оборотам в кают-компании о Борисе Вилькицком, о его уходе к белым и тем не менее о сохранении имени на карте — опять в новинку. А слушаю как! Там есть крошечный мыс и остров Жохова с могилой на мысу и бедными стихами, обращенными к возлюбленной. Лейтенант спятил, влюбившись в двоюродную сестру, и, когда брак был запрещен, увязался в экспедицию Вилькицкого. Норов у обоих был будь здоров, и они не ладили, так что после смерти Жохова от нефрита Вилькицкий открыл Жоховым остров и тогда же дружно названный в его честь все-таки обозначил на карте дружким именем. Но моряки народ заводной, и уже после эмиграции Бориса Андреевича ВЦИК вернул острову имя Жохова. Значит, кому-то надо было обитать в этом ВЦИКе пороги, давить там, брать на горло, выгораживать истину. Теперь он лежит там под камнем со стихами об утренней Авроре и тени любимой. А она ушла в сестры милосердия, прожила с памятью о нем и умерла недавно. Слушают мариманы, в глазах слезы. Вот, говорю, возмите, сами почитайте. Куда там. Сентиментальность и лень, как у уголовников. Не зря Шкловский говорил, что тюрьмы